

Оглавление

Часть четвертая. ОГОНЬ И ПЕПЕЛ.	3
Часть пятая. СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ	501
Эпилог. «Я СЛЫШУ — СОЛОВЬИ РОСУ КЛЮЮТ...»	837

Том 2

Часть четвертая ОГОНЬ И ПЕПЕЛ

Война шла уже почти два полных года...

Четырнадцатого апреля был ледолом на Громотухе, на реке ворочались, сверкая синими боками, тяжелые, разбухшие от солнца и воды ледяные пластины, толкались, терлись друг о друга, как бараны на узкой дороге, и медленно ползли вниз.

Весь день светило по-весеннему горячее солнце, в синем, уже очень глубоком небе весело сияли неприступные утесы Звенигоры. Временами то одна, то другая каменная громада нестерпимо вспыхивала бело-голубым огнем, сыпала во все стороны искрами. Было такое впечатление, будто в недрах молчаливой Звенигоры постоянно бушует яростный огонь, горячее пламя проедает каменные стены то в одном, то в другом месте и со свистом вырывается наружу. И лишь из-за расстояния свист этот не слышен.

Поглядывая на сверкающие вершины, на залитые солнцем, мокрые еще, пустынные и унылые пашни, по дороге из Шантары в Михайловку ехал председатель райисполкома Иван Иванович Хохлов.

За год с небольшим работы в исполкоме Иван Иванович сильно похудел, всякая одежда на нем болталась, словно была с чужого плеча. Круглые щеки опали, даже когда-то полные и розовые, как у ребенка, губы сейчас одрябли, обесцветились. И лишь круглые глазки смотрели на мир все так же по-ребячьи весело и неунывающе.

4 Председатель райисполкома ехал в «Красный колос» для того, чтобы в последний раз уточнить колхозный план хлебосдачи на нынешний год, глубоко втайне имея мысль — нельзя ли этот план на пять-шесть сотен центнеров увеличить. Думать об этом Хохлову было тяжело, ибо он понимал — никакое увеличение хлебопоставок колхозу не под силу. В прошлом году «Красный колос» снова сдал государству хлеба больше всех в районе, вывез на шантарский пункт «Заготзерна» все, что было выращено, до последнего зернышка. И хотя злые языки в районе глухо поговаривали — не до последнего, умеет, мол, Назаров и подальше от стола сесть, и рыбку съесть, — Ивану Ивановичу было известно: на трудовень михайловским колхозникам прошлой осенью было выдано всего по двести граммов ржаных отходов да немного фасоли. Хохлов своими глазами видел, что люди жили в основном на картошке, а в жалкие крохи серой, как дорожная пыль, муки из отходов подмешивали ту же картошку, семена лебеды, тыквенную мякоть. Хлеб из такой муки получался тяжелым, как кирпич, мокрым, горьким на вкус. Для этого окончательного уточнения плана хлебосдачи Иван Иванович мог вызвать Назарова, как и других председателей колхозов, в райисполком, но делать этого не стал — Панкрат Григорьевич за прошедшую зиму очень сдал, кашель душил его насмерть. Несколько раз Иван Иванович и Кружилин заговаривали с ним об отправке на лечение, но Панкрат лишь усмехался невесело и говорил:

— Какая меня больница теперь вылечит? Вот до лета доживу — барсучье сало буду пить. Ничего, оклемаюсь.

Въехав в Михайловку, Иван Иванович поразился, как скоро обветшала без мужицкой руки деревушка, покосились, а кое-где упали плетни и заборы, прохудились соломенные повети, во многих домах покривились расшатанные ветром ставни. И как за два военных года обносились люди — все дети бегают в сплошном рванье

и босиком, несмотря на то что земля очень холодная, а в затененных местах просто стылая. 5

Иван Иванович несколько раз бывал в Михайловке, многие знали его в лицо, и он знал многих, хотя не мог запомнить всех имен или фамилий. Поздоровался с ним какой-то старик, гревшийся на припеке у завалинки. За плетнями, на огородах, копошились женщины и подростки, очищая землю от прошлогодней ботвы, кое-где огороды уже вскапывали. Некоторые женщины, когда Хохлов проезжал мимо, прекращали работу, выпрямлялись и тоже здоровались.

Взрослые были одеты не лучше, чем дети, — в обтрепанные, измызганные одежки, в залатанные кофты и юбки. Вся эта обветшалость, эта бедность, почти нищета зимой не так бросалась в глаза, но стоял снег, сняли люди полушубки да фуфайки, — сразу выперла, мозолила глаза, и ничего нельзя было с ней поделывать: за последний год для продажи населению не отпускалось ни метра мануфактуры, ни пары сапог или ботинок, ни килограмма гвоздей. Те жалкие крохи товаров, поступающих в район, направлялись в магазины заводского ОРСа. Зато завод работал, выпускал снаряды и минометы...

Подъезжая к колхозной конюшне, чтобы оставить там лошадь, Иван Иванович обратил внимание, как заполошно кричат играющие на солнечной полянке ребяташки. Он вспомнил, как приветливо поздоровались с ним сидящий у завалинки старик и женщины из-за плетней. Да, одеты все были плохо, но человеческого уныния не чувствовалось, голодных глаз, изможденных от недоедания лиц, как во многих других деревнях, Иван Иванович в Михайловке не заметил. Это одновременно радовало и порождало неприятную тревогу: а вдруг да в разговорах о Назарове есть какая-то доля истины? Вдруг да наловчился этот мужичок утаивать хлеб от государства? В такое-то время!

— Здравствуйте! Распрягать, что ли? — услышал Хохлов ломающийся мальчишеский басок и очнулся от задум-

6 чивости. Коробок его стоял возле конюшни; невысокий, начинающий раздаваться в плечах подросток с уже по-мужицки широкими, крепкими ладонями держал лошадь под уздцы.

— А-а, Володя Савельев! — узнал его сразу по серым глазам, по белесым, давно не стриженным волосам Иван Иванович. — Распрягай и покорми жеребчика... Ну, как живете, Володя? Мать как?

— Ничего живем... — Володька отпустил чересседельник, развязал супонь, ловко отстегнул гужи, вывернул дугу, бросил на землю одну оглоблю, другую. — Мать в амбарах с семенами возится. Ничего, все здорово.

— Отец-то пишет?

— Было письмо на Благовещенье.

— Когда-когда?

— Да в конце марта, говорю.

— Ты уже и религиозные праздники знаешь?

— А кто их в деревне не знает, — проговорил старый Петрован Головлев, выходя из конюшни с вилами в руках. — Здоров живешь, Иваныч!

— Здравствуй, Петрован Никифорыч.

— Письмо на Благовещенье по женским приметам — благая весть, значит, — продолжал старик. — И-их, что тут было после этого письма, сколь разговоров! Худо-бедно, мол, а цельный год, до другого Благовещенья, ни огонь, никакое железо Ивана теперь не возьмет...

Он прислонил вилы к стенке конюшни, вздохнул:

— Бабье — глупье, а легче им с ихними приметами.

— Здоровье-то как, Петрован Никифорыч?

— А чего нам, бывшим петухам? Курочек теперь не топчем, здоровье и сберегается.

Володька Савельев уже распряг лошадь, увел в конюшню и там покрикивал на нее, водворяя в стойло. По-прежнему пекло солнце, Головлев, присев у стены на корточки, свертывал папиросу.

— Да я вот вижу — у вас все здоровы и сыты, — промолвил Хохлов. — В других колхозах мало сказать — хуже. Голодают люди.

— В других, — усмехнулся Головлев, слюнявя папиросу. — В других и председатели другие. А наш-то Панкрат Григорьич...

Что-то прокололо будто сердце Хохлова, оттуда заструилось кислое, холодное, во всей груди стало пощипывать.

— А что он... ваш? Чем же от других отличается?

— Ну, он что... Сам подышает, а людям не дает. Бабенки наши говорят: скончается — памятник ему поставить надо...

— За что?

— Дак за что человеку памятник ставят? За душу его человеческую.

Иван Иванович зло глянул на палящее солнце и начал старательно, на все пуговицы, застегивать истрепанное демисезонное пальто, будто ему стало холодно.

— Душа-то у людей разная бывает, Петрован Никифорыч, — промолвил он с горьковатой усмешкой. — То есть человечность эта разное содержание имеет...

Старик поднял голову, поглядел на председателя райисполкома пристально, долгим, пронизывающим взглядом. Глубокие морщины вокруг глаз его были неподвижны, а потом шевельнулись. И он тут же опустил дряблые веки с редкими, выцветшими за долгую жизнь ресницами.

Потом Головлев некоторое время молчал. Он все сидел на корточках, выгнув спину, чуть свесив голову в скатавшейся овчинной шапке, обнажив старческую, вдоль и поперек изрезанную глубокими бороздками шею. Глядя на эту шею, на всю фигуру старика, Хохлов вдруг подумал, что Головлев не так прост, как кажется с первого взгляда, что проницательности ему не занимать, он догадался о его подозрении относительно Назарова — и вот обиделся за своего председателя. Но ведь

8 такая обида тоже несправедлива! И Головлев, и многие другие колхозники могут защищать своего председателя, исходя из сугубо эгоистических интересов, именно за то, что тот, как поговаривают, наловчился утаивать от государства какую-то часть урожая и тайно делить его потом меж колхозниками.

— И за что ему судьбина такая? — качнул головой старик. — Полипов, прежний председатель райисполкома, этак же напраслины всякие возводил на Панкрата. Ты вот новый начальник — и тоже... Всяким злобным разговорам про Назарова, выходит, веришь?

— Я, Петрован Никифорыч, не то чтобы верю...

— А вот коли дуrolом какой над народом стоит, так на него у тебя подозрениев нету?

Головлев сердито плюнул на недокуренную самокрутку, сунул ее за козырек шапки и поднялся.

— Сытый, говоришь, народ у нас в колхозе? Так это что, в злость тебя кидает? Ты песенки бы, что ли, веселые пел, если бы народ и у нас с голодухи запах? А хлеб для фронту кто сеять бы стал?

— Да ведь сытость сытости рознь! — прикрикнул Хохлов и покраснел, чуть отвернулся. Иван Иванович всегда краснел и смущался, когда приходилось резко говорить с людьми. И прибавил уже опять мягко, виновато: — Сытость-то, Никифорыч, по-разному ведь можно, как бы это выразить... обеспечить.

— Вот-вот! — встрепенулся старик. — Именно...

Головлев шагнул к стенке, взял свои вилы и проворно обернулся, будто хотел с этими вилами броситься на председателя райисполкома. Но воткнул их рожками в землю, обе заскорузлые ладони положил на конец черенка, уперся в руки подбородком, заросшим сивыми волосенками.

— Вот что обрисую я те, мил человек... — Он глядел не на Хохлова, а куда-то на Звенигору, на взметнувшиеся в синюю высь неподвижные каменные громады, облитые щедрым желтым солнцем. — Обрисую,

значит, а ты начальственной своей мозгой уж пошурупай... 9

Последние слова неприятно резанули Хохлова, даже не сами слова, а тон, каким они были произнесены. Голос старика был холодный, насмешливый, почти издевательский. Но Иван Иванович смолчал.

— Прошлогод Панкрат особую бухгалтерию завел. Какая семья сколь картошки накопала, сколь тыквов с огорода сняла, морковки там, сколь кадушек огурцов да капусты насолила... Время прошлой осенью, помнишь, тяжелое было, непогодь много стояла. Огородишки-то Панкрат дал людям все ж таки убрать. И завел, значит, этот подсчет. Сена каждому дал накосить для скотины. И опять в свою тетрадку занес, кто сколь копешек поставил али стожков. А для чего?

— Интересная бухгалтерия, — вместо ответа неопределенно сказал Хохлов. — Ну и что же?

— Оно кому интерес, а для него забота... Сколь в каждой семье рабочих рук и сколь едоков, какая имеется скотинка, сколько курей, утей, Панкрат и без записи помнит. Он, зараза, все знает, даже у кого корова али коза сколько молока дает...

— Вот как?

— Этак! — согласно кивнул Головлев. — А имея, значит, в сознании полную картину, и распоряжается. Кого лишний раз не отпустить с колхозного поля, а кому и дать денек-другой на огороде своем покопаться, как бы на общественной работе тяжело ни было. Кому подводу выделит, скажем, для подвозки дров, а кто и на себе, на ручной тележке, привезти может.

— Да... Да, да, — размышляя о чем-то, уронил Хохлов.

— Что «да»? Одобряешь, что ли? — напрямик спросил Головлев.

Иван Иванович поглядел на старика, улыбнулся:

— Не знаю, не знаю, Никифорыч... Шурупаю вот... Ну, и как люди к такой бухгалтерии относятся?

10 — Подчиняются люди без прекослова ему. Потому что знают — Панкрат ничего такого зря не скажет, напрасный поступок не произведет. Кто, может, и поворчит, не без того, а в душе-то согласный с председателевым указом... Потому народ и сытый, ежели без хлебушка сытым можно быть. Ведь все, все до зернышка мы сдали прошлогод в фонд обороны. Потому что тоже понятие имеем...

Старик умолк. Молчал и Хохлов. Безмолвие между ними установилось тяжелое, неловкое. Иван Иванович тер кулаком подбородок, а Головлев опять смотрел на гранитные утесы Звенигоры. Потом выдернул из земли вилы, попробовал их зачем-то на вес.

— А ты с подозрением... От стыда-то куда деться, прости ты, Господи...

И ушел куда-то за конюшню.

Панкрата Назарова Иван Иванович нашел возле колхозных амбаров. Он в грязном дождевике, с непокрытой головой (фуражку держал в руке) стоял у брички, на которую две молодые женщины грузили чем-то набитые мешки. Они вытаскивали их из черного проема амбарных дверей и легко забрасывали на повозку.

Обернувшись на хруст шагов, Назаров чуть шевельнул спутанными, жесткими, как прошлогодняя стерня, бровями, прежде чем поздороваться, прошелся взглядом по Хохлову с головы до ног, будто неодобрительно оценил его наряд. И опять стал смотреть, как грузят мешки.

Женщины, обе чернявые, стройные и, несмотря на замызганные юбки и пыльные кофточки, очень привлекательные, были не местные, из эвакуированных. Одна была с косой, другая острижена коротко, не по-деревенски. Поздоровавшись с Хохловым, они почему-то глянули друг на друга, хохотнули, убежали в амбар и долго не появлялись.